

ГРАНИЦА НОЧИ

Поле было совсем рядом с домом, и вечерами Лина часто выходила пройтись среди высокой, нагретой июльским солнцем травы. Нагулявшись вволю, она расстилала старый домотканый коврик, бережно прижимая ладонью колоски к земле, и ложилась на спину, чувствуя лопатками силу и мерное тепло земли. Так, готовая к неведомому обряду, что вот-вот должен свершиться, она лежала тихо-тихо, не шевелясь и даже стараясь дышать реже и глубже.

Лина ждала. Прямо на нее с неба падали ослепительные облака, слетались, чтобы петь, со всех далей птицы, а ветер бегал по ее лицу, задевая челку и путаясь в ресницах, отчего Лина растерянно моргала и слегка застенчиво улыбалась.

И мир вокруг начинал меняться. Он плыл и медленно таял туманом, становясь кротким и почти прозрачным. Потихоньку растворялись цвета, терялись расстояния и контрасты. Мягкой мокрой кистью растушевывались твердые линии дня, и, когда холодные оттенки брали верх, поле напоминало Лине пруд, где разогретая летом вода уже не чувствуется кожей, и ты точно так же, лицом к небу, ложишься и смотришь за облаками.

В эти часы земля затихала, сумерки, казалось, забрали с собой не только краски, но и звуки, чтобы вернуть последние с новой силой уже к темноте, в которой и шепот отлично слышался на другом конце поля. Лина вглядывалась в сизый воздух и напряженно пыталась разгадать тайну: как увядание может быть таким спокойно красивым. Смерть лета и наступление осени, таянье снега, конец дня — Лина любила эти сломы сезонов и времени, за которыми всегда начинается новое, которое неизменно трогает душу и обещает также смениться после чем-то другим.

— Ты опять здесь?

Лина резко вскочила на ноги. Перед ней стояла девочка. «Лет десяти — не больше», — подумала Лина. В темноте нельзя было подробно ее рассмотреть, и только белое простое платье и пшеничные волосы вырывались из дымки и трепыхались на ветру флагами.

— А какая тебе разница? — раздраженно ответила Лина. Девочка ее напугала и так резко вырвала из дремы, что до сих пор Лина не могла очнуться, нащупать под ногами реальную почву и чувствовала себя канатоходцем, стоявшим перед насмешливым зрителем.

— Никакой. Просто ты сюда ходишь и ходишь. И неподвижно лежишь все время. Когда я первый раз на тебя наткнулась, я подумала, что ты мертвая, но потом ты встала и пошла как робот, — девочка показала пару резких движений. — И я

решила не подходить. Может, ты из тех мертвых, что здесь неприкаянные по ночам ходят, ожидая, пока позовут наверх.

Лина скривилась. Вся красота этого вечера была испорчена. Какие гадкие бывают дети.

— А ты случайно не мертвая, девочка? — ехидно заметила она. — Ведь ты тоже вроде как по ночам ходишь?

— Я-то в траве не лежу, — подняла брови девочка, — а ты как бревно и будто не дышишь.

— А то ты слышишь: дышу или нет, — отрезала Лина, передернула плечами от негодования и стала собирать коврик, распрямляя примятые колоски.

— Надулась? — продолжила девочка. — Ты же не одна здесь такая. А мне нравится за вами подсматривать, — и она как-то недобро сощурилась. Лине стало не по себе, и она, перекинув через плечо сумку и повесив на нее коврик, быстрым шагом направилась к дому.

— Они любят другую границу. Из темного — в светлое, слышишь, Лина! — крикнула ей вдогонку девочка, но Лина не обернулась, а еще пуще прибавила шаг.

Только перед самым крыльцом дома Лина поняла, что не шла, а бежала. И что было силы! Она по-рыбьи хватала ртом воздух, а пульс отдавался во всем теле, словно Лина была уже не Линой, а одним большим нервным сердцем, которое всполошили бедой.

Лина тряхнула головой, тихо выругалась и переступила через порог. Дома было немного чадно и пахло блинами.

— Мы тебя заждались, Линка, — весело улыбнулась мама и взяла у нее сумку, пока Лина расстегивала ремешки сандалий. — Уже даже думали, что не придешь к ужину, хотя я с утра намекала, что будет стуженка и вкусные блинчики. Лина, ты здесь?

Мама встревоженно посмотрела на дочь. Даже сквозь дачный крепкий загар дочь была поразительно бледная, а лоб ее покрывала испарина.

— Котик, что-то случилось, а? Скажи, может быть, обидели? — мама присела рядом на табурет и доверительно заглянула в глаза дочери. Дачный поселок стоял на окраине, до ближайшей деревни час ходу, и то полями, а там безлюдно, и Бог знает, что может статься с молодой девушкой, что бродит ночами.

— Да не важно, мам. Уснула в траве, и какая-то девочка меня напугала. Подкралась неслышно и как крикнет. А я все никак не могу отойти. И смотрела так зло на меня, мама. Знаешь, ощущение, что как будто сглазили. Но мы ж с тобою в это не верим, — и Лина натянуто улыбнулась.

— Верим — не верим. Но кто ж его знает? — и мама проворно взялась за дело: сгребла в охалку ножи и вилки из кухонного ящика, наполнила кружку водой по мениск и поставила туда приборы остриями вниз. Затем толкла ими воду, крест-накрест, как разрезала, и приговаривала:

— С людей пришло — на людей иди. С ветром пришло — на ветер иди.

И умыла этой водой Лину, крепко отерла ее своим подолом и вылила остатки воды за порог.

— Не я выговариваю, Пресвятая Богородица своими устами, своими перстами, своим Святым Духом. Аминь. А теперь кушай, дочка, и спать ложись. Да и вообще, может, тебе оно приснилось. Разморило на жару, а ты и соснула.

Немного полегче стало Лине, она успокоилась и с аппетитом поела. Со стуженкой блины, со сметаной и медом. Мама уложила ее рядом с собой, укрыв легкой льняной простыней, и трижды кряду перекрестила.

Ночь была свежей, как лист мяты, и Лина спала, не видя снов. Но перед рассветом стукнула форточка, и Лина вскочила:

— Кто здесь? Мама?

Дачи спали под песни цикад, и на сто миль вокруг будто все замерло, оцепенело в предвкушении утра. Мама во сне пару раз вздохнула, и Лина поправила на ней одеяло. Девушка очень медленно встала, не скрипнув ни одной половицей, на цыпочках прокралась к двери и, как была, в отцовской футболке, выскользнула на улицу.

«Скоро рассвет, — подумала Лина. — Опять граница. Может быть, мама была права, и мне все от жары приснилось и сейчас, наверное, тоже снится, но слишком ясно, выпукло, четко».

Но Лине не снились реальные сны, да и поутру она все уже смутно помнила, а к обеду от снов не было и следа: все забывалось. А девочку, поле, эти слова ее на прощанье она помнила как сейчас, как будто это только случилось. Это и вызывало сомнение.

Лина поежилась от росы, но возвращаться домой за обувкой не решилась.

«Если мама проснется, уже никогда ничего не узнаю», — справедливо решила она и, перекрестившись, потихоньку пошла к полю, тщательно вглядываясь в тропинку и стараясь не наступить на острый камень или колючую ветку.

Кромка неба подернулась бирюзовым, а затем начало светлеть, и алая полоса отрезала небо от земли, словно спелая слива треснула от своего сока. Лина подумала об этом и поняла, что, как ни странно, проголодалась и с охотой съела бы пару слив из сада тетя Нади, да и пить хотелось ужасно, а у них чудесный колодец. Рассветало, надо было спешить, и она прибавила ходу. Но когда девушка повернула вместе с тропкой, огибая березы, то резко остановилась и прижалась спиной к первому же дереву, словно это ее защищало от того, что открылось взгляду.

Поле, разлитое под луной, как вода, струилось волнами от края до края, разливая холодный белый свет к своим берегам. И строго, как стражи, ровно и смиренно стояли тени. Через каждый метр, как скорбный лес, они высились над водой-травой, и головы поднимали к небу в надежде на то, что будут приняты и прощены. Безликие, словно мазки акварели, бесплотные серые полосы частокола, тени ночи ожидали утра и этого красивого слома, которого вечером искала Лина, лежа в траве на своем коврике. Они были близко, но смотрели мимо и пока не замечали гостью.

Рядом с собой, в десяти метрах, Лина увидела белую девочку, она усмехалась, на нее глядя, и теребила ветку березы. Лина кивнула ей и попятилась, осторожно ступая, как утром в доме. Девочка не пошла за ней следом, но Лина побежала назад, оглядываясь, и все ей казалось, что девочка рядом, зло смеется и смотрит ей в спину. И уже на пороге дома, она точно услышала звук шагов. Но, когда обернулась, никого не было, и, проворно подняв с земли камень, бросила его наугад:

— Не ходи за мной, слышишь, дрянная девочка. Я больше вам точно не помешаю.

И, хлопнув за собой дверь, Лина ловко юркнула под одеяло, дрожа от холода и увиденного, мгновенно уснула, прижавшись к маме. А утром, проворно собрав вещи, решила уехать, но так же быстро и твердо захотела остаться. За деревней, с востока, ширился лес, и там она еще не бывала.

МИХАЙЛОВЫ ПЕТУШКИ

Сутулый, притрушенный годами, словно пылью, стоял посреди ночи рыжий дед Михась и размеренно качал покореженными артритом руками пустую деревянную колыбель.

Ой-йю, да люли-люли... При-ли-та-а-ли гули...

Глухая темнота облепила его старое худое лицо, качалась на кончике прозрачного крючковатого носа и цеплялась за морщины лба и щек. Она жадно впивалась в колючий свитер, падала вниз и беспокойно слонялась по комнате, пока не попадала в старинный графин, где сливалась с водой.

Современная комната, такая своенравная ночью, не принимала костлявого деда, будто делала шаг в сторону, и старик парил над паркетом, вопреки тяжести протяжных вздохов.

При-ли-тали гули...

Скулил вентилятор. В стеклопакет из молочного тумана улицы бил пухлыми кулаками фонарь. Он щедро рассыпал щепотками ледяной свет по заостренным локтям и коленям предметов: шкафов, лакированных столов, вазонов и елочной мишуры.

*Стали гули го-во-рить:
Чем нам деточку кормить?*

«Трын-н-н-нь!» — раздался звонок и застрял в серванте. Резко, будто его и не было — «Трын-н-н-нь!». Михась устало закрыл глаза. Словно не хотел видеть, как за хрустальной сахарницей звук прячет свою острую мордочку.

Когда дед опомнился, звонок уже настойчиво прозвучал раз пять, и Михась торопливо зашаркал к двери.

— Миха, ну че, привет! Я бы раньше, но она... Она, братиш, знаешь — она! ...Курва — вот...

Так ввалился в комнату безумный балаган, закружил, затрепал, затопал ногами и, свалив вешалку, превратился в наподдатого увальня лет пятидесяти. Гость хохотал, задравши огромную медвежью голову и давился медвежьей же слюной:

— У-ух, бабы! Хах! Хотела, чтобы я ей чулки за штуку купил! Слышишь? На ее вонючие кривые лапы! Я ей фигу под нос — ешь! Так она, стерва, губы наелозила (к-р-а-с-н-ы-м-к-у-р-в-а!) и говорит такая: «Ты куда хочешь, а я к подружке». Мол, «че надо, мужик?»

Медленно высвободившись из объятий Медведя, дед потер плечи, моргнул желтыми глазами, а потом взволнованно и резко выдохнул — фьють!.. Подняв вешалку и отряхнув уши от балаганного бреда, Михась попытался тихонько отодвинуть Косолапого — Косодушего от люльки и хоть чуточку свернуть начавшееся представление.

— Игорь, я хотел сказать... — начал было речь дед.

— Га-га-га-бхе-кхе-кхе! Че? Че я ей сказанул на это, братишка? Знаешь?! — не сдавал позиций Медведь, который уже успел быстро поставить пустую бутылку под стол и полезть за новой порцией «бухла».

На обесчещенном Медведем столе вмиг из многочисленных пакетов появились водка, селедка, кольцо кровяной колбасы, сыр, огурцы, еще водка, грибы, яблоки, апельсины, бананы, картошка в баночке, котлеты в мисочке, пирожки, конфетки, третья водка и пол-литра коньячка.

— Так, че я ей сказанул, братишка?! Га-га-кха!.. Только ты в штаны не нахезай, интелехент хренов! Я ей так прямо в морду и выдал: ТЫ-БЛЯ...-ЛЕЛЬКА-СУКА!

Михася ударило, и он прижался к полу. Его прибило к теплomu дереву звучной, как гром, увертюрой, именно в тот момент, когда он наклонился за шляпой (упавшей вместе с вешалкой-настроением-песнею).

— Ты-Бля...-Лелька-Сука! — смакуя каждое слово, Медведь повторил тираду «на бис» и захлебнулся от восторга.

Боль и отчаянье свели лицо Михася в жухлый осенний лист, и он начал по-рыбьему хлопать губами, пока его не прорвало старческим листопадом:

— Господи — Игорь — не кричи! Господи — Игорь — сколько раз! Не рычи, не кричи, не бранись — дети спят... У меня же малые дети! ДЕТИ, Игорь!

Медведь-Игорь засунул кровавую колбасу в рот и запил чужую кровь медовухой. За считанные секунды его похабная ухмылка прошла эволюцию до современного отвара из наглости, иронии, гонора и злости. Зверю было обижено, зверь был в ярости. Игорь приосанился и медленно повел балаганную навозную артиллерию в бой:

— Сколько лет, мать твою... А ты, крыса, все такой же... Меня с Гришкой не любил, ПРИЕМЫШ, старшенький...

Михась закрыл левою ладонью глаза и только шелестел, наступая на свои увядшие листья:

— Тише, тише... Где же ты есть, Господи? Смотришь куда?

Но Игорь непримиримо выбрасывал перед собою знамя похмельного гнева, подминая мир столбами великанских ног и пророчил:

— Че, думаешь лучше нашего поднялся, а? Я и покруче, брат, видел, ты мне мозги не трахай! и не таких обламывали. Зона тебе — не твоя одесская шлюха! Зона и не таких раком ставила.

Слова внезапно кончились, и стало слышно, как торжествующе взвизгнул вентилятор. Неожиданно вместо них пришла ненависть. Вместе с водопадом слюны она брызнула из Игоря, залив комнату, дом и три худенькие березки, обляпанную снегом машину и бельмо фонаря на улице. Медведь ревел, Медведь сопел, Медведь шипел и плевался:

— Нет у тебя детей, сучий потрох! НЕТ! Колыбель свою!.. — от бессилья он швырнул кровавой колбасой в люльку. Бултых! Но ударило в кресло, с которого слетело перепуганное «мяу-у-у!».

— ...Колыбель свою!.. Долбаную... Двадцать лет назад, гнида, смастерил! Еще и перинку небось сам набивал, а? Кррыса! Столько лет меня за хрен водишь!

Поднялся кулак, и нитки полопались, словно тонкая паутина августа. И — тишина. Балаган снова остановил хоровод: тряпичная кукла перенастраивалась на другой лад. Маслянисто усмехаясь, Игорь подошел к пожилому, прибитому жизнью брату и рыгнул ему в лицо смрадом алкоголя, грязи, брани и дерьма балаганных коней:

— А че я собсна понтуюсь, братишка?! Не знал али че? Зна-а-ал! Я даже подарочек тебе принес, на случай, если ты, как всегда... А дерьмо — оно и в Африке...

Тяжело оторвавши ладони от лица, Михась увидел, как Игорь достал из кармана леденец. Прозрачный и хрупкий в ночном свете петушок на палочке. Подарок детям.

— Вот... подарочек... В метро купил, для вылупков твоих, гадина... Только вот покажи мне, — сальное лицо Игоря налилось кровью, — как они его ПО-СО-СУТ и...

Игорь презрительно зыркнул вокруг, шаря глазами в поисках выключателя.

— Свет вруби... Или прячешь что? Может, телку привел, а на ублюдков стрелки сводишь?

Михась твердо, как все, что делается во сне, взял леденец из порепанных квадратных пальцев. И не включил свет. Повернувшись к хищнику спиной, он подошел к колыбели и, задумавшись, начал размеренно раскачивать ее маятник.

Скрип-крип... Скрип-крип... — держа перед собой леденец.

Крип-скрип... Крип-скрип... — опасаясь опустить птичку вниз гребешком.

Прозрачный нос деда Михася совсем повис: на нем задержалась густая восковая слеза и застыла.

— Знаешь, Игорь... А у меня, действительно, деток нет. Не дал Господь деток — и баста. А это... Это я сначала от одиночества. А потом привык. Поверил. Теперь — верю. Работаю ради них, инвестирую в больницы, детские дома. Вот, елку нарядил!

Сам с собой всю жизнь — несладко. Не обижайся, пожалуйста, я стар и болен... Так стар и так болен!

Медведь нервно перекладывал на столе продукты, размахивал руками и то и дело пытался ухватить Михася за старые колбочки, как иголки, плечи:

— Миха... А, Мш... ты, правда, ну... Того? М-м... Или так, смеешься? Я ж это, как бы считал это, что ты дразнишь нас всех этой люлькой! Ты, братан, не думай, я по любви, а то говорят... Думал, что поднялся ты и зазнался, падла! А ты ради НИХ. И все эти благотворительности... Может, тебе доктора? Или как?

Словно аист возле колодца стоял рыжий дед и качал пустую колыбель. Скрип-перескрип... Перескрип-крип...

— Ну, я все же доктора найду. Лучшего! Ты не выдумывай там себе: твой брат — не крыса! Сказал-сделал! Ну... Я... Я... побежал, Миха, а? Сам знаешь: Лелька уже ужин состряпала, ждет, наверно. Та и пацаны малые. А ты ничего, держись!

Растерянный и пьяный, Игорь направился к столу: еда всегда была ему в помощь во время тяжелой душевной работы. Сначала неуверенно, а потом все быстрее и быстрее (уже с жаром!) с льняной скатерти исчезли по пакетам водка, яблоки, грибы, сыр, огурцы, апельсины-бананы, пирожки и конфеты, картошка в баночке, котлеты в мисочке. Не оставлять же добро дурному! А большому... еще и зарежет спяну! Балаган уезжал с одесских улиц. Балаган уезжал!

— Э-э, СВОИМ... приветы передавай! — нашелся наконец-то Игорь и заискивающе кивнул в сторону колыбели.

— Ну, пакедова, братишка, не скучай! — осталось как удар дверью, от которого снова упала вешалка, шляпа — и шум, брань и крики. Упала и зазвенела тишина.

Не шевелясь, стоял посреди зимней ночи большой дед Михась, набираясь сил из ледяного света и темноты, чтоб улыбнуться. Чтоб оторваться от земли где-то на полсантиметра и парить. Чтоб начать тихо, а потом все сильнее свой напев:

*Стали гули ворковать,
Стали гули хлопотать:
За-ле-те-ли в уголок,
За-жи-га-ли огонек....*

Дед пел, будто сбрызгивал комнату святою водой. Он убирал смрад, сметая жадность, выбрасывая за порог торг и нахальство. Поднимал, держа в руках перед собой леденец, железную вешалку и круглую, как озеро Синегир, шляпу. Замыкал на все четыре засова двери: на один — клац, на другой — брынь, на третий и четвертый — цок! Чтобы не сбежала тишина! Чтобы уже наконец-то в окно заглянуло ясное небо тридцать первого декабря. Чтобы погас фонарь.

Михась подошел к колыбели и заглянул в нее, улыбаясь. До боли нежно, до боли любо. Он пел на идиш, и слышала ночь:

Ой-йю, да люли-люли... При-ли-та-а-ли гули...

И не стало в колыбели детского одеяла, и не стало самой колыбели. Распалась, растворилась мебель, углы и вазоны, и темнота стыдливо сбежала вслед за ком-

натой, и обратилась ночь в день, и засияло лето. По зеленой поляне, что дышит солнцем, по василькам раскиданным, как роса, бегали босые счастливые дети: мальчики и девочки, русые, черные, рыжие головушки. Румяные, как персики у моря, дети! И у каждого в руке — сладкие радужные леденцы.

*Петушки на палочке
красные, желтые, зеленые...*

ДОЛГИЕ КАНИКУЛЫ, ИЛИ ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ МЫ

*Вот это пшеница,
которая в темном чулане хранится...
Она вроде тоже... императрица,
но только... пшеница!*

Аля ловко отрезала от крыжовника хвостики и напевала, что придет в голову. — Перестань, — смеясь, оборвала ее Мама, — твои песни потом целый день поешь.

Аля хитро прищурилась и, растягивая слова, продолжила:

— Кры-жов-ник он тоже им-пе-рат-рица,

Ведь в тем-ном чула-не у мамы хранит-ся...

— ...в доме, который построили мы, — добавила Мама и поцеловала дочь в затылок. Ее волосы пахли летом и пылью. Але очень нравилась книжка про Джека и его хитросплетенный дом, и она все время пыталась играть ею, как новой куклой. Да и играть было больше не во что.

В окно было видно, как по двору метет пыль. Вторую неделю стояла невыносимая жара, но сегодня было особенно душно. «Вот бы гроза», — подумала Мама.

— Мама, мам, а почему мне иногда так радостно, что больно? — спросила Аля. Но, пока Мама раздумывала, что бы ей на это ответить, девочка уже отвлеклась. Один спелый крыжовник лопнул в ее пальцах, и Аля прыснула со смеху.

«Потому, что больно вообще всегда, а радость только это подчеркивает», — сказала Мама. Нет, только подумала, а сказала иначе:

— Рядом с белым даже серое кажется черным. Это нормально, Аля-дочь.

Мама улыбнулась и повела плечами, мол, ничего не поделаешь.

Девочка подошла и прижалась виском к маминому плечу.

— Не грусти, мам, они вернуться. Представь, что просто у нас самые большие летние каникулы в мире. Длиннющие!

И она что есть силы развела руками, пытаясь показать нечто непостижимо большое.

Мама улыбнулась и погладила ее по щеке:

— Дочь, ты думаешь, это прекрасно?

— Это замечательно, мама! Нам точно все завидуют!

— Были бы эти все, — вздохнула Мама и принялась засыпать крыжовник сахаром.

В одно лето, когда стоял такая же духота, они с Алей лежали в гамаке и дурачились. Аля показывала рожицы, а Мама угадывала, кого именно из соседей на этот раз копирует девочка. День так долго тянулся, что не было ему конца. И, разморенные от жары и долгого смеха, мать с дочерью лежали плечом к плечу и

смотрели в небо, которое казалось плотным и тяжелым, как пудинг. Им никто и никогда не был нужен, и счастье было просто друг в друге. Такое же будничное, как трава, гамак и лето.

И даже когда не стемнело, и Аля с мамой вернулись в дом, обсуждая белые ночи, они не поняли, что остались одни. Не было чудовищ, нашествий, вирусов, губительных войн, тревоги и паники. Просто в один миг, или день, или час мир опустел, а Аля с мамой остались ждать. То ли чуда, то ли пробуждения, то ли случайного гостя. Но солнце с тех пор все время стояло в зените, и лето не кончалось. Самое долгое лето в их жизни.

«В новом доме, который выбрали мы, плотные-плотные шторы», — вдруг, подумалось Маме. Бордовый плотный ситец. Вот и сказка: ни смысла, ни конца, ни начала. Просто дом со шторами. И мысленно продолжила нараспев:

*В темном чулане императрицы
спрятаны спицы — синицы — пшеницы.
Мы прячем от солнца счастья крупницы
В доме, который построили мы.*

— Хватит! — и она в сердцах стукнула ладонями о стол. Аля вздрогнула и удивленно взглянула на Маму.

— Выбросить бы к черту. Все эти. Сказки, — сказала Мама твердо.

Аля кивнула:

— Тогда давай играть во «Все хорошо»? Так, понарошку. Сегодня ляжем с тобой пораньше, а когда проснемся — будет серое утро и сильнящий дождь. Будут грохотать и звенеть трамваи, и молочница тетя Валя опять закричит свое: «Мо-ло-ко!» А Виталька бросит в окно щепку, а я выгляну и скажу: «Ну, какой ты дурак, Виталька!..»

...Мам, ну давай сыграем?

ШШШ

Предчувствие ходило кругами. Такое знакомое! Вот коснулось пальцами век, затем в груди трепыхнулось пташкой, спустилось медленно к левой ладони и там, пульсируя, затаилось. *Пред-*чувствие. И не чувство, а так, предощущение того, что станется. Откуда оно у меня, откуда?

Лес потемнел от осени и дождей, набух и растеся буро-серыми пятнами. Пахло грибами и вянущим садом. Этими пряными бархатцами, которые и не росли здесь. Пробираясь по узкой тропе к озеру, мне приходилось то и дело огибать вязкие, как болото, лужи. Они соединялись одна с другой, образуя целые гиблые топи, на дне которых, как мне казалось, живут удивительные рыбы: незрячие, древние, хищные. Когда эти рыбы шевелили хвостами, раздавался всплеск, и на израненную дождем поверхность всплывали мутные пузыри.

— Рыбы-сныбы, спите дальше! — говорила я им, чтобы не бояться. То, что имеет название, меня не пугает. Имена нас как будто сближали.

Ветер больно дул в левое ухо, и начало ломить затылок. Боль. Такое легкое, мелодичное слово. Словно нота в распевке: до, си, ля, боль, фа, ми, ре, до.

Зачем людям *пред-*чувствие? Тоска или боль все равно придет неожиданно. В тот самый момент, когда ты спокоен, когда уже тихо и так славно: ты ел виноград

или слушал музыку, играл с детьми или на скрипке. И тут уже чувствуешь легкие пальцы, что закрывают тебе глаза:

— Угадай кто? А ну, угадай-ка!

Тоска придет со звонком телефона, по почте, с гостями или одна, протечет сквозь крышу, протиснется в щели, сольется с голосом и дыханием. Как отравление, интоксикация. А после останется горький привкус от пережитого и анальгина. Но это значит, что боль уходит, привкус тогда, когда переболело.

— Блюм, — капнуло с дерева на макушку, и холодная капля протекла сквозь берет. — Бррррр.

Я заставляла себя ходить, чтобы не думать о том, что будет, и не думать сегодня вообще. И не ждать с опаской, что встречу тоску и что «пред» превратится в «чувствие». Поднимала ворот, надевала шарф и водила себя кругами: от дома — к дому, от леса — к озеру. И, как принято в йоге, дышала правильно: на восемь — вдох, два счета не дышим, держим паузу и — выдох, тоже на восемь. Вроде, все просто. Пранаяма. Йогам она приносит покой, а мне одышку и боль в легких.

— Откуда сегодня придет тоска? Откуда, скажи, озеро?

На самом краю хмурый дед Борис закинул в тугую воду наживку. Леска тихо заныла в воздухе.

Я стояла, ссутулившись (руки в карманы), и внимательно на него смотрела. Ноябрьей восемьдесят или восемьдесят пять пережил дед Борис и все так же хмурился, глядя из-под густых бровей. Сколько же ему осталось?

Дед привычно оглушил рыбину и бросил ее в ведро — шмяк.

— Добрый день, дед Борис. Как улов? — спросила я вежливо.

Он каркнул невнятное и сложил удочку. Медленно встал и двинулся к домику, прихватив табуретку и ведро с рыбой. Теперь он жил совсем рядом с берегом, глядя на воду целыми днями, словно и сам был частью леса и увядал вместе с этой осенью.

— Дед Борис, знаешь, о чем я, — сказала шепотом, чтобы он не слышал. — Забери и мою тоску с собою, ведь тебе уже недолго осталось.

Дед Борис замер, вдруг у порога громко и внятно сказал:

— Шиш! — и стукнул изо всех сил дверью.

И, глядя на ставни, что дрожали от капель, мне чудилось, будто он дрожит. Руки трясутся и подбородок: боится смерти дед Борис и потому запирает покрепче засовы.

— Шиш! — Слышу дрожь я эту в шагах прохожих, в словах друзей и объятьях любимых. Никто тоску мою не захочет, никто мою боль не примет. И так до далеких глубин болотных, где царствуют древние Рыбы-сныбы.

— Ишь, захотела чего девочка! — шипят, злорадствуя, незрячие рыбы. — Шиш этой девочке, шиш!

